

Владимир Гиляровский

Рассказы и очерки



Часть сборника
Трущобные люди (сборник)



Владимир Алексеевич Гиляровский

Рассказы и очерки

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=173031

Гиляровский В. А. Трудобные люди: Рассказы, очерки, мемуары: Эксмо; М.; 2007
ISBN 5-699-20003-7

Аннотация

Владимир Гиляровский не писал толстых романов и повестей, но многие из его современников ушли из памяти людской, а он остался. Нельзя забыть его – талантливого в каждой своей строке журналиста и писателя, защитника угнетенных и обиженных.

В сборник вошли рассказы и очерки о различных событиях, очевидцем которых был писатель, и людях, с которыми сводила его судьба. В этих коротких произведениях созданы яркие картины дореволюционного быта и нравов.

Содержание

ПРОКОРМИТЬСЯ БЫ	4
БЕГЛЫЙ	6
НА ПЛОТАХ	9
ВОЛЯ ПОКОЙНОГО	16
ПРЕСТУПЛЕНИЕ	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Владимир Гиляровский

Рассказы и очерки

ПРОКОРМИТЬСЯ БЫ

(Из жизни актеров)

Случилось мне летом 1883 года быть в городе Орле. Я остановился в гостинице, а так как день был свободный, пошел прогуляться по городу. На самой главной улице у подъезда гостиницы толкался народ, окружив какой-то громадный вагон, стоявший на улице.

– Что это там делается? – спросил я одного из лавочников.

– Актеров провожают, ну и глядят, – пояснил он мне.

Я подошел ближе, в самую толпу. Перед нами стоял громадный, старый, вылинявший рыдван, напоминавший не то «Ноев ковчег», не то самый скверный вагон железной дороги. Рыдван был запряжен четверкой заморенных лошадей самого жалкого вида. На широких оборванных козлах сидел не менее оборванный ямщик.

В толпе шли примерно такие разговоры.

– Актеров-то, гляди, как возят, в чем... – обращается мещанин к женщине.

– А рази в другом можно? Сейчас их на две половины: женское сословие в одну, муж-чинов в другую...

– С ними вместе и зверье посадят? – любопытствует маленький мальчик.

– Это без зверья, это другие актеры, со зверьем – зверинцы, а это киастральные, сами зверье приставляют... Сейчас удивиль есть: «Медведь и паша», так мой постоялец медведя сам в овечьем тулупе приставлял на киастре.

– Как это им охота? Тоже люди, а такими делами занимаются! Лучше бы работали...

Я невольно задумался над последней фразой.

– Вы какими судьбами здесь? – вдруг услышал я сзади.

Оглянулся – мой старый знакомый, актер Л...

– По делу приехал, – сказал я.

– А вот и мы по делу едем, – сказал Л., указывая на рыдван.

– Куда же?

– В Симбирск, верст полтора отсюда. Здесь наше дело расстроилось, сборов не было, вот и едем. Бог даст, прокормимся... Вот и наши идут. Знаком?

Из гостиницы вышли пять актеров и две актрисы. Из актеров трое были знакомы. С другими и с актрисами меня познакомил актер К.

– Ну что, все уложено? – спросил Л., одетый в русскую поддевку, подпоясанную кавказским поясом.

Из рыдвана высунулся высокий, худой, как голодный заяц, помощник режиссера:

– Все-с! Только водочки бы на дорожку!

– Да, надо, возьми бутылку, – сказал Л.

– Две бы взять... дорога дальняя, – несмело заговорил актер маленького роста.

– Пожалуй, две, вот восемьдесят копеек, – подал Л. деньги.

– Помилуйте, господин Л., какой расчет, а? Добавить полтинник – четверть целую и возьмем.

– Куда четверть! Две бутылки довольно.

Помощник исчез и через минуту вернулся с водкой.

– Теперь, господа, с богом, садитесь. Вы и вы, mesdames, поезжайте до заставы на извозчиках, а мы в колеснице. Проводишь нас, Владимир Алексеевич? – обратился он ко мне.

Я согласился, и мы шестером поместились в рыдване.

– Трогай!

Ямщик затопал, зачмокал, засвистал, и рыдван закачался по скверной мостовой, гремя и звеня; каждый винтик в нем ходуном ходил.

Мы сидели шестеро, а места еще оставалось в этом ковчеге, хотя целый угол был зава-лен узелками и картонками.

– А что, господа, в каком мы классе едем? – сострил кто-то.

Все промолчали.

Сидели мы по трое в ряд, причем помощник поместился как-то висячем положении. Сзади на главном месте сидели Л. и С. Последний стал актером недавно – это был отставной гусар, щеголь, когда-то богатый человек. Несмотря на его поношенный костюм, старый шик еще не покинул его. На руках были шведские сиреневые перчатки, а в глазу монокль. Третий сидел Р. Его бледное лицо, шляпа à la brigand, из-под которой светлыми прядями спускались жидкие прямые волосы, выгоревшее и поношенное пальто и сапоги в заплатках как нельзя более подходили к окружающей обстановке.

– Что будет в Симбирске? – заговорил он.

– Я думаю, что будут дела! Все-таки состав для такого города весьма недурен. Ты как думаешь?

– Я думаю, что выпить надо, – в ответ сказал С-ов.

– Что дело, то дело-с! – заезгзил помощник и вынул бутылку.

– Погодите, господа, за заставой выпьем, – уговаривал Л.

– Да вот и застава!

Наш рыдван выкатился за два заставных столба и мягко заколыхался по пыльной дороге.

Влево в тени берез, которыми усажена была дорога, нас уже дожидались актрисы.

Мы сели на траву. Помощник режиссера откупорил обе бутылки.

– Зачем это вы обе?

– Пить-с! Да еще я думаю бутылочку бы взять... Вот и они выпьют, – указал на меня помощник.

Л. достал серебряный стакан, рыбу-воблу и связку кренделей.

– И тут без кренделей не могут. Ну, актерики-с, – сострил С-ов.

– Ну-ка, отвальную, – начал Л. и налил мне водки.

Выпили, и через пять минут водки не было...

– Ну, господа, теперь в путь! – вставая, сказал Л.

Попрощались. Перецеловались...

– В Москве увидимся! – крикнул из рыдвана Л.

– Увидимся постом! Желаю сотни заработать!

– Куда сотни! Дай бог прокормиться, с голоду не умереть или без платья не вернуться, – как-то печально промычал С-ов.

– До свидания!

– До свидания!

Через несколько минут рыдван скрылся за поворотом, и только долго еще треск и звон винтов и винтиков древней повозки доносились до меня по вечерней заре.

Дай им бог прокормиться!

БЕГЛЫЙ

Стояла весна. Кое-где в глубоких оврагах вековой тайги белелся снег, осыпанный пожелтевшими хвоями, а на скатах оврагов, меж зеленевшей травы кое-где выскакивали из-под серого хвороста голубоватые подснежники. Верхушки мелких сосенок пустили новые ростки, светло-зеленые, с серыми шишечками на концах, заблестали бриллиантовые слезки на стволах ели, сосны и кедра. Молодая березка зазеленила концы своих коричневых почек, а на окраинах и вся покрылась изумрудным убором, рельефно отделяясь от темной стены старых елей и сосен и еще черневшихся лиственниц.

По утрам окраины тайги оживали: тысячи птиц кричали без умолку на разные голоса. Самый воздух, согретый яркими лучами солнца, был полон весеннего аромата сосны и березовой почки, полон расцветающей жизни, полон могучей силы.

Никогда не бывает так прекрасна тайга, как весной! И чем дальше человеческое жилье, чем тайга глуше, тем она прекраснее, величественнее и тише.

В самой глуши никто не нарушит ее тихой жизни, никто не мешает ее концерту, ее гармонии.

Каждая птичка поет сама по себе, дятел сердито стучит в дерево, ловя червячков, проделавших удивительные ходы в древесине, плачет кукушка, ветер гудит, стонут от него косматые головы седых великанов.

Всякий звук сам по себе, а дирижер – сама тайга – все эти отдельные звуки сливает в одно, и выходит концерт поразительный.

Человек заслушается этого весеннего, дикого и очаровательного таежного концерта, так заслушается, что всю жизнь тайга будет ему мерещиться и живо будет вставать в памяти.

И тем живее встает она, чем безотраднее ему. И скажет тот человек, если он болен лежит или заброшен в душный каземат, скажет одно:

– Послушать бы тайгу денек, как кукушка кукует, как дятел долбит, как ветер гудит по вершинам, послушать бы еще раз, а там хоть и умереть!

И манит тайга человека бывалого, неудержимо манит из душевной тюрьмы на вольный простор.

Рискует старый бродяга попасть под плети, под меткую пулю часового, а все-таки рвется хоть денек послушать кукушку в тайге, поплакать с ней, как и он, бездомной, и умереть, отоцав с голоду, или опять вернуться в тюрьму, обновленным таежной волей, до следующей весны, до следующих надежд на побег.

Бывалого бродягу зовет кукушка, а молодого удальца тянет родина далекая, дойти до которой редким придется.

Раза два удалец попробует побороть неизмеримое расстояние тайги, раза два опять неволей вернется в каземат, а на третий он и родину, пожалуй, готов забыть, а все-таки неудержимо бежит поплакать с кукушкой о далекой родине.

И вытягивает весна удалых добрых молодцев из-за решеток железных, из-за каменных стен, из-за острых штыков. И не страшны им в ту пору стены, не грозна смерть – они сами не помнят себя, очарованные притягательно силой благоухающей вольной тайги.

– Воля! Вот она, воля-то, где! А-ах!.. Не надышишься просто! И сосной, и березкой пахнет... А там...

Он вздохнул и задумался.

Это был плотный тридцатилетний человек, в арестантском халате и шапке без козырька.

– А-ах! Хорошо! – вздохнул он еще раз. – А чего стоило добраться сюда. Да! Даже страшно. Впрочем, чего страшного – пуля, смерть, и только. Страшно там, в этих подземе-

лях, где, того и гляди, тебя задавят землей, как червя в норе, в темноте. Сгинешь и свету божьего не увидишь! Пуля что! Чик и шабаш! А там всю жизнь под землей, без надежды на солнышко взглянуть! Всю жизнь...

Он задумался.

— А солнышко-то, солнышко!

Бродяга прикрыл глаза сверху, как козырьком, рукой и посмотрел на запад.

А оттуда сквозь чашу деревьев прорывались режущие, ярко-красные лучи заходящего солнца. Они играли и бегали на стволах деревьев, соскакивали с них и блестящими «зайками» прыгали дальше на следующих стволах, на чуть зазеленевшейся траве, на сети сучьев.

Лучи все ярче и ярче горели, и наконец меж стволами начал скользить самый диск солнца, переливавшийся, как расплавленный металл, брызгавший сиянием ослепительных лучей.

Бродяга, стоявший на берегу лесного оврага, жмурился, а все продолжал смотреть на солнце, опускавшееся за верхушки леса.

Чем ниже опускалось солнце, тем темнее и темнее становилась пропасть оврага.

Все выше и выше бежали золотые «зайки» по старым великанам, блеснули на их шапках, прошли розовой полоской по беловатым облакам и исчезли.

Как-то сразу почернели овраг и лес, будто задернулись от света черной занавесью. Сразу холодно стало.

Бродяга вздрогнул, нащупал спички в кармане и стал опускаться на дно оврага, захватывая по пути сухой валежник.

Снизу тянуло холодом. Там еще белелся снег. Бродяга взглянул на дно и переменил свое намерение. Он опять поднялся наверх, выбрал чистую полянку, натаскал хворосту, вынул спичку, погрел ее сначала за ухом и зажег.

Чуть заметными, беловатыми полосками побегал огонь по сухому валежнику, зачернелся дым, а потом полосы огня, по мере того как темнело небо, краснели; клубы дыма исчезали в темноте, сверкая по временам мчавшимися кверху звездочками искр, или прорезывались кровавыми языками пламени, когда бродяга шевелил костер или бросал свежий валежник.

Он вынул из мешка хлеб, воткнул кусок на палочку и стал жарить над угольями. Хлеб дымился, трещал и слегка обгорел.

Бродяга аппетитно понюхал, снял шапку, положил ее на колени, перекрестился и стал есть.

Свежий ветерок подул из-за оврага и гулко зашумел вершинами.

— Наш, расейский ветерок, с заката. Ишь, теплый какой!

Он подкинул еще валежнику в костер, нахлобучил шапку до ушей, устроил постель из еловых ветвей и хворосту и лег, плотно закутавшись в широкий арестантский халат.

— Дом, а не халат... Спасибо смотрителю, будто знал, что понадобится, — новый дал! — улыбнулся он.

И представилось ему, как перетрусил носастый смотритель, придиравшийся за каждую мелочь к арестантам и дрожавший, как осиновый лист, перед начальством. Вспомнился ему и последний побег из деревянной полусгнившей тюрьмы.

Ночь была такая же темная; окно его секретной камеры с заржавленной решеткой выходило в поле, за которым синела бесконечная тайга. Под окном торчали острые концы бревенчатого частокола, заменявшего тюремную стену, и за частоколом постоянно двигалась взад и вперед полоска штыка — днем синяя и ночью светлая, от красноватого отблеска закоптелого, грязного фонаря.

Он долгое время смотрел на тайгу, на частокол, на штык, мелькавший то вправо, то влево от окна.

По этому штыку можно было знать, где часовой, близко или далеко.

Тогда ночь была темная, туманная, фонарь мигал красноватою точкой среди густого весеннего тумана, как тлеет керосиновая лампа в бане.

Он выставил полугнилую раму, скрутил из белья веревку, связал этой веревкой два прута решетки, всунул в веревку полено, принесенное из коридора под халатом еще накануне, и начал его повертывать. Веревка скручивалась. Вольный, свежий ветер прорывался в тесную, душную камеру и освежал, ободрял его, уставшего до поту. Веревка скручивалась, связанные ею прутья сжимались.

С другой стороны он также связал два прута и скрутил веревку.

Образовалось отверстие, голова в него проходила свободно.

Вспомнил он, как хлопали по грязи кенги часового, удалялся влево отблеск штыка, вспомнил он смелый прыжок, крики, выстрелы, шум сзади, свист пули около уха.

Но вспомнилось все это как-то неясно, будто давно это случилось, а не три дня назад.

А ветер все гудел вершинами...

Бродяга сквозь полусон прислушивался к этому шуму, напоминавшему ему ночи — далеко, далеко отсюда...

Яркий огонь близкого костра грел ему лоб, и сквозь закрытые веки бродяга видел, или, лучше сказать, чувствовал, сначала красное, а потом фиолетовое зарево, глазам было больно, но он напрасно напрягал усилия открыть их. При каждой тщетной попытке поднять веки зарево только принимало более яркую окраску и еще крепче сковывало глаза и усталые члены.

Он был как бы в забытии, голова горела, мозг сжимался, грудь давило, и всевозможные картины, одна другой фантастичнее, мелькали в его воображении...

Он забыл в этот миг все, все...

НА ПЛОТАХ

Лед прошел. Вода на Москве-реке стала сбывать, а площади низин все еще были залиты на далекое пространство. По более высоким берегам синелись на черном иле надвинутые одна на другую и забытые водопольем льдины; по оврагам в виде громадных спящих чудовищ лежал снег, а на обрывах на коричневом фоне старой травы просвечивали зеленоватые пятнышки и оживляли мертвые обрывы. Река ожила. Серые чайки парили над водой, с трудом рассматривая в желтой ряби стальную полосу, камнем бросались за добычей, хлопали по воде крыльями, и трепещущая стальная полоска, извиваясь, блестела в их изогнутых клювах.

Время от времени из-за дальнего мыса выдвигалась темная масса, широкая, длинная, извивающаяся по зеркалу воды, как исполинская змея. На концах ее мерно покачивались взад и вперед высокие фигуры, и когда масса подвигалась ближе, то фигуры росли, росли и, как на волшебной декорации, обращались в мужиков и баб, усиленно поднимавших неуклюжие длинные весла на концах дровяного плота.

Один из таких плотов подходил к Москве.

На середине плота, на куче соломы, с багром в руках стоял мужик, одетый в синюю пестрядинную рубаху, жилет, который был расстегнут, лапти и овчинную шапку, заломленную на затылок. Вся фигура мужика с грудью колесом, поднятой головой и рукой на багре, которым он направлял оголовок плота, напоминала в общем лихого лоцмана на картинах крушений судов. Его лицо с чуть заметной растительностью, двумя клочками приткнувшейся к углам подбородка, так и горело беззаветной удалью и сознанием своей силы. Рамка волос, выбившихся из-под шапки и прилипших к изрытому морщинами лбу, была уже седовата и показывала, что сгонщику немало лет.

Плот мчался... Навстречу ему издали бежали главы церквей, красные фабрики, высокие трубы с закопченными верхушками и круглыми черными шарами. Вот белой полосой на темной перспективе замелькал ажурный Бородинский мост, полоса становилась все шире, длиннее и вдруг, освещенная мелькнувшим из-за облака солнышком, представилась плотовщикам гигантским серебряным кружевом, растянутым в воздухе между берегами реки.

– Никита Семенов, мост-от, мост-от, серебряный вроде!.. – сорвалось у кого-то из гребцов, уставившихся на панораму Москвы и лениво поднимавших весла.

А Никита весь погрузился в развернувшуюся перед ним давно знакомую картину и ничего не слышал.

Он смотрел и на кружево моста, и на дымящиеся фабрики, и на золотые главы далекого Новодевичьего монастыря, и на щетину лесистых Воробьевых гор, и на низменный Дорогомиловский берег. Каждое местечко было знакомо Никите.

Невольно всплыла в памяти Никиты первая путина на плотах из-под Можая в Москву, когда за десять рублей ассигнациями он стоял в веслах на дровяном плоту, а потом и каждую весну стал ходить на плотах, как сделали его, удалого да ловкого, сперва канатчиком, а потом сгонщиком. И хозяин сам, бывало, на плоту стоит, а правит все Никита. Сорок одну весну на плотах ходит. А сколько горя насмотрелся он за это время! Сколько народу на его глазах потонуло, померло, без вести пропало, а уж сколько пропилось да в острогах из-за этих сплавов сгнило – и не перечтешь... И вчера один канатчик потонул под Троицей. Стали на ночь канатиться, мужик-от соскочил в воду, думал, мелко, ан в глубь попал да под плот – только и видели... Может, зацепился за дерево, так до Москвы дойдет да при выгрузке всплывет синий, опухлый. А баба-то его как вчера убивалась, все в воду рвалась, так к плоту самое-то от греха привязали...

С берега неслась звонкая, заунывная песня.

– И отчего это, – взбрело Никите, – сорок годов на погонах хожу, а песен на нашей работе не слыхивал? Сапожник поет, портняга колченогий поет, столяр поет и бурлак, и тот, на что уж каторжный, тоже временем поет, а нам вот песня и на ум нейдет.

И стал Никита добиваться, отчего на плотях песня не спорится. Сообразил он, что как сел на плот, так и гребли до поздней ночи, – значит, не до песни; потом на ночь к берегу приставать, канатчик должен первый с приколом в воду соскочить, плотовщики окромя баб тоже канатиться в воду лезут. Приканатились. Холод, мокреть, обсушиться негде, спать некогда – того и гляди, плот водой сорвет. Какая тут песня? А потом опять, с пустой кашицы да с черствого хлеба петь-то мало радости. И решил Никита, что в их работе петь нельзя.

Солнышко опять спряталось за тучу, и мост, вместо ласкавшего взгляд серебряного кружева, казался серой громадной массой, утвержденной на серых, мрачных скалах, несшихся навстречу плоту и грозивших разбить его вдребезги. Плотовщикам ясно виделось, что мост несется на их плот, и они боязливо косились на него, усиленное работая веслами.

– Наляг, братеники, наляг! – зычно покрикивал Никита, и гребцы, ободренные ровным, спокойным голосом первого на реке сгонщика, энергичнее налегали на весла и отводили плот на фарватер.

А мост все надвигался ближе и ближе, грознее и грознее вставал из воды каменный устой.

Плотовщики вскидывали головы время от времени, при передышке между ударами весла, различали живую стену у решетки моста и городского, бессильно старавшегося отогнать публику.

С моста доносились возгласы:

– На бык, ей-богу, на бык! Во налетит... Вдребезги...

– Куда правишь-то, черт, пра-а черт!.. – Последний эпитет относился к Никите.

А опасность была близка. Плот несло прямо на каменный устой, и публика, охотница до ужасных зрелищ, приготовилась видеть крушение.

– Наляг, братеники, наляг! – громче прежнего донеслось до зрителей, и они видели, как еще крепче мужики налегли на весла, как Никита багром отделил с одной стороны на аршин оголовок плота от длинного туловища, как это туловище дрогнуло, изогнулось змейкой в дугу, как оголовок с шестью низко нагибавшимися в веслах мужиками и двумя бабами исчез под мостом и весь плот, минуя устой, помчался туда же.

– Мама, мы поехали, а плот остановился, – услышали сверху гребцы детский голос, вскоре заглушенный под мостом отголоском ударов весел, плеском воды о каменные устои и грохотом от перебежавшей на другую сторону моста публики.

Плот вынырнул на другой стороне и прямо как стрела продолжал нестись. Гребцы бросили весла и смотрели назад, на народ.

Никита, весь сияющий, без шапки обернулся лицом к мосту и раскланивался.

– Молодец, счастливо, с прибытием! – кричали ему.

– Наляг, братеники, наляг! – опять загудело по реке и раскатилось под мостом.

Опять закланялись гребцы на концах плота, зрителям плот казался все короче и короче, солома на середине плота представлялась желтым, неясным пятном, а мужики и бабы потеряли человеческие формы и казались нагибавшимися очепами деревенского колодца.

Никита надел шапку и плотнее уперся багром в оголовок. Около плота мелькнули две-три небольшие лодочки с гребцом и рулевым. Из лодок торчали багры, поленья дров, доски.

– Никита Семенов, мартышки-то мыряют! – крикнул молодой парень с оголовка плота Никите.

– У нас, Ваня, не разживутся полешком... Вороны проклятые, только и ждут, как бы плот разбило где... Чужим горем кормятся!..

– Дома по Дорогомилову-то понастроили!..

– Наляг, наляг, ребятки, канатиться скоро!

Направо перед плотовщиками раскрылась необозримая равнина Красного луга, на которой, как разбросанные кусочки зеркала, блестели оставшиеся от разлива лужи, и ряд таких же зеркал, прямых и длинных, словно обрезанных по мерке, в бороздах залитых огородов. За огородами тянулся ровный ряд куполообразных ветел, а еще дальше бурый кряж голой Поклонной горы. Вдоль берега стояли вереницы плотов с желтыми пятнами соломы и дымками костров, у которых грелись бабы в желтых, как соломенные кучи, армяках.

По берегу то к городу, то обратно к плотам сновали плотовщики, другие кучками стояли по лугу.

Некоторые кучки, круглые, делали странные движения: то поднимали вверх головы, то опускали их, то все вдруг, как по команде, наклонялись и садились на корточки, а затем опять вставали и опять смотрели в небо.

«Избалован, ах избалован плотами народ, – думал Никита, глядя на берег. – А все из-за чего?.. Деньги, кажись, трудные, а вот не жаль... Вон они в орлянку-то играют. Ишь, головы-те задрали к небу, дождя просят. Круг-то человек тридцать. Кровные денежки проигрывают, проживают. И сам пропьешь... А все хозяева... Сейчас пригнали плот, не успеешь приканатиться хорошенько, ан хозяин с водкой, да нарочно стаканище-то норовит такой, чтобы руками не обхватить... Как не выпьешь? С мокрети да с устатку ихватишь... А как хватил – в глазах круги-круги пойдут, зеленые, желтые, красные, синие... Голова закружится – ну и пошло! Вот этот первый-то стакан отравы все наше горе и есть. А там и пошла и пошла! При расчете пьяного обочтут, в трактире тот хорош, другой лучше того, все тебя угощают, ты всех угощаешь, и деньги все! Мало того, по пьяному делу разуют-разденут люди-то добрые, да еще этапом домой ушлют: не путайся, безобразник, по городам, паши, скажут, свою полосу! А все отравы... И кажинный раз думаешь: ну ее к лысому, отраву-то – а как не выпить с устатку-то... обидится...»

Никита стоял, облокотившись на багор, смотрел на луг и бормотал.

– Дядя Никита, канатиться где будешь? – крикнули ему с оголовка.

Никита вздрогнул и огляделся.

– Вон пониже ветлы-то... Наляг, ребятки, наляг...

Плот извивался и скрипел.

Иван отделился от гребцов и перешел на середину плота. Это был молодой, могучего сложения парень в одной рубахе, с расстегнутым, несмотря на свежую погоду, воротом, без шапки и босой. Он поднял толстую с заостренным концом жердь, намотал на нее бечеву, остатки которой собрал кольцами на левую руку, и встал на край плота.

Гребцы усердно работали. Никита старательно то отводил багром, то притягивал к себе оголовок.

Плот приближался к берегу.

Еще несколько ударов весел, и он искривился. Его толкнуло снизу с такой силой, что все стоявшие на нем покачнулись.

Плотовщики бросили весла, схватили шесты и отталкивались ими от берега. Канатчик Иван с приколом в руках прыгнул в воду и окунулся до шеи. Двое других прыгнули за ним, и все трое быстро очутились на берегу.

Иван, распуская кольца бечевы по мере того, как от него удалялся плот, уносимый быстрым течением, старался всадить острый конец прикола в землю, но прикол вырывало из рук и тащило вместе с Иваном и мужиками, помогавшими ему.

Наконец удалось-таки всадить прикол и забить его чекмарем¹. Плот остановился и стал извиваться, как змея, которой наступили на голову.

¹ Чекмарь – деревянный молот.

– Третью бечеву! Подтягивай третью...

– О-от так! Крепи ее! Крайнюю, проворней! – командовал Никита.

Веревки закреплены. Плот еще треснул раза три, закрипели его канаты из березовых прутьев, и он остановился.

* * *

Плотовщики сошли на берег.

Их встретил толстый, как слон, хозяин и, не разгибая жирных, раздутых, как в водянке, пальцев, подал Никите руку:

– С прибытием! Блаапалушна?

– Слава богу... Без задоринки...

– Спасибо, Никитушка, спасибо... Сейчас с прибытием поздравим, а потом в трактир за расчетом.

– С прибытием-то и опосля, прежде бы рассчитаться, – нерешительно заговорил Никита, поглядывая на четвертную водки, стоявшую на земле.

– Опосля! Нешто это водится, что ты, Никита Семеныч, тебе хорошо, а...

– А другим-то плохо нешто? Перво-наперво расчет, а там всяк за свои выпьет...

– Ты сухой, а вон Ивану-то каково... – указал хозяин на дрожащего Ивана, с которого ручьями лила мутная вода.

– Ваня намок!

– Бог намочил, бог и высушит! – щелкал зубами канатчик.

– А ведь изнутри-то лучше погреться... Мишутка, наливай!

Мишутка, пятнадцатилетний сын дровяника, взял четвертную и налил чайный стакан.

– Кушай, Никита Семеныч...

– Пусть вон Ванька пьет, – аппетитно сплевывая, ответил Никита.

– Пей ты, порядок требует того...

– Пей, не морозь человека-то, – послышалось между плотовщиками.

– Пушай пьет... Нешто я причина... Пей, отравись...

– Какая отравка... Што ты... Сам выпью... – Хозяин взял стакан и отпил половину.

– Кушай ты теперь! – подал он Никите, закусывая густо насолненным хлебом.

– Пей поскорей, дядя Никита... Холодно ведь! – нетерпеливо крикнул Иван.

– Посудина уж больно велика... захмелею, – отнекивался Никита.

– Ничего, с устатку-то!..

– Со свиданием!

Никита залпом проглотил стакан, отломил хлеба и отошел в сторону.

Угощение продолжалось. Сначала выпил канатчик Иван, а за ним и остальные, кроме баб. Их хозяин и упрямить не мог.

– Да ты пригубь, сколько можешь, Маланья.

– Не неволь: и рот поганить не буду. О празднике, живы-здоровы будем, выпьем уж.

Никита стоял поодаль и смотрел.

– Отравка проклятая, тьфу, как с голодухи-то забирючило... Вон он, народ-от, от нее, как тараканы, сонные по лугу путаются, а все отравка...

Он опять посмотрел на хозяина.

– Брюхо-то отрастил... вот бы в канатчики его на путинку, на другую, небось, стряс бы жир-то, ежели бы по-Ванькиному побегал! – добродушно улыбнулся Никита.

Ему представилось, что хозяин бежит босой за плотом, как вчера Ванька под Старой Рузой бежал: стали канатиться, а прикол-то у него вырвало, и Ванька версты четыре босой по снегу да по заливам плот догонял. И сам Никита так же, как молод был, бегивал. Ловкий

был, сильный. Канатчику надо быть сильным, а сгонщику умным, чтобы течение понимать и берег, где приканатиться, разуместь.

Картины прошлого одна за другой воскресали перед Никитой.

Посреди деревни стоит большая светлая изба с огородом, а за ним зеленые луга, желтые полосы ржи, березовая роща. От рощи двигается воз сена, двое ребятишек копошатся на возу, а лошадь ведет под уздцы рослый, краснощекий Васька, сын Никиты, а рядом с ним, в красном сарафане, с граблями на плечах идет такая же рослая и красивая мать Васьки.

Неделю назад, когда Никита сел на плоты, он видел только одну мать Васькину, старую, сердитую. Березовой рощицы давно уж нет, изба почернела, соломенная крыша до половины за зиму скормлена хромому бурке и комолой буренке.

Скучно теперь в избе! На лавке сидит старуха, прядет и думает: загулял мой запивоха!.. А допрежь весело в избе было. Особенно весной. Малыши на проталинке в бабки играют, Васька из города, из извоза приедет на праздник. А теперь одна старуха в избе. Ребятток нет. Маленьких съела деревня, большого – город. Махонькие померли: от горла один, потом другой от живота летом. А на что уж знахарка Марковна старалась отходить, и кирпичиком толченым с наговором поила, и маслицем от чудотворцев мазала – ничего не помогло.

Васька – этот в городе пропал. Сперва почетливый был, покорный. В легковых извозчиках ездил, домой рублей пятнадцать, а то и двадцать на праздники-то подавал, а потом запил, в острог угодил, а там и помер. Долго тогда Никита о Ваське плакал. О том плакал, что город Ваську съел. Жил бы в деревне себе, при земле, оженился бы, а захотел погулять-попить – на то праздник есть... Плоты опять... Нешто дело плоты? Ими сыт не будешь, плоты только хозяевам хлеб, а мужику разоренье одно... Мало кто домой привезет заработок с путины – все деньги в московских трактирах остаются. Разве бабы только да какой уж каменный мужик супротив соблазна устоит... А прежде все лучше было, народ построже был, да и хозяева не спаивали. Зачем на плоты мужик идет, коли они разоренье одно? – спрашивал себя Никита. – Зачем он сам, знает, что плоты разоренье, а сорок лет ходит? А затем, что издавна заведено было отцами да дедами на плотях ходить, так и тянет. Чуть весна – вся деревня на плоты, как праздника ждешь, натосковавшись за зиму-то. А тут хлеба нет, корму скотине не хватило, а хозяин-дровяник уже объезжает деревню и задатки раздает... Картины одна за другой пестрой панорамой проходили перед Никитой.

А по реке шли плоты один за другим и канатились у берега.

У одного плота порвалась бечева и стащила в воду бабу, другой пристал к чужому плоту, порвал канаты, и хозяин испорченного плота с рабочими избил до полусмерти неосторожного канатчика, а плот унесло дальше и посадило на мель. Около разбитого плота, как из воды, вынырнули десятки мальчишек на своих легких душегубках и переловили унесенные течением дрова...

Толпа золоторотцев из «Аржановской крепости» прошла мимо Никиты наниматься выгружать дрова.

Эта толпа резко отделялась от толпы плотовщиков. При взгляде на серые, похожие одна на другую мужицкие фигуры в рваных полушубках и понитках, в шапках с торчавшими клочьями кудели и с глубокими, добродушными, слезящимися глазами на серых лицах Никите вспоминались такие же серые, однообразные, с клочками соломы на крышах, с глубокими слезящимися в прорезах соломенных завалинок окнами деревенские избы... Видно было что-то родственное между теми и другими, будто одни родили других.

Толпа оборванных, грязных, зловещих золоторотцев в остатках пальто, пиджаков, опорках напомнила Никите труппы города, куда он как-то ходил разыскивать запутавшегося в них Ваську. Их мрачные земляные лица, их грязные облезлые фигуры напомнили Никите виденные им дома с разбитыми стеклами, с почерневшей, отвалившейся сырой штукатуркой, зловонные, шумные...

Толпа золоторотцев шла быстро... Впереди шагал с темно-бурым, лоснящимся лицом здоровяк в жилете из когда-то дорогого бархатного ковра, в форменной фуражке и опорках, привязанных веревками к оголенному по колено икрам. Остальная толпа с шумом шла за ним. За толпой, стараясь не отстать, торопился оборванец, высокий, худой, беловолосый, напоминавший всей фигурой тонконогий гриб, растущий в подвалах, и как раз сходство с этим грибом усиливала широкополая серая рваная шляпа.

Галденье толпы вывело Никиту из забытья, он осмотрелся кругом, встал и пошел в Дорогомиловский трактир за расчетом.

* * *

Дорогомилово гудело. По всей набережной, по лужам и грязи шлепали лаптями толпы сплавщиков, с котомками за плечами, пьяные. Двое стариков, обнявшись, возились в луже и, не обращая внимания на это видимое неудобство положения, обнимали друг друга за шею мокрыми грязными руками и целовались. Над самой водой, на откосе берега, раскинув крестом руки, лежал навзничь пожилой рыжий мужик в одной рубахе и в лаптях; пьяный плотовщик продавал еврею полушубок, против чего сильно восставала баба, со слезами на глазах умолявшая мужа не продавать шубы, и вместо ответа получала на каждое слово толчок наотмашь локтем в грудь и ответ: «Не встревай, дура! Ты кто?! А?» Мимо Никиты продрезжала пролетка с поднятым верхом, из-под которого виднелись лишь четыре ноги в лаптях и синих онучах, и одна из этих ног упиралась в спину извозчика.

Около трактира толпы народа становились гуще, плотовщики перемешивались с золоторотцами. Корявый, с топорным лицом городской разговаривал с барином в шляпе и, указывая на толпу, презрительно говорил:

– Нешто люди? Необразованность, деревня...

Никита шел и то и дело встречал знакомых, с каждым останавливался, говорил. При входе в трактир ему встретился едва державшийся на ногах канатчик Иван.

– Ваня, жив? – окликнул его Никита.

– Ванька нигде не пропадет! – ответил тот и со всего размаха распластался на мостовой.

В трактире с низкими закопченными сводами пахло прелым полушубком и сивухой. Все столы, стулья, скамьи были заняты включенными мужиками в рубахах, пол завален сумками, столы заставлены чайной посудой, бутылками; стоял такой гомон от сотен голосов, стуканья посуды и звона медяков, что отдельных голосов нельзя было разобрать. Направо от входа за столом толстый хозяин раскладывал бумажные рубли, покрытые медяками, на кучки и отодвигал каждую кучку к окружавшим стол плотовщикам.

Никита получил свою долю, и на столе появился чай, баранки и четверть вина...

Вечерело. Над рекой опустилась беловатая дымка тумана, заморосил мелкий, как из сита, скорее похожий на осенний дождь. Половые в белых рубахах, бесцеремонно расталкивая охмелевшие, кудлатые головы, опущенные бессильно на стол посреди зала, становились между этими головами на колена, чиркали серные спички о широкие спины плотовщиков и зажигали лампы. Спичка, случайно, а может быть из шалости брошенная половым, попала в рыжую курчавую голову, вспыхнуло несколько волосков, но обладатель головы провел по волосам заскорузлой рукой, потушил пожар и, как не его дело, продолжал спать.

Никита, согнувшийся, обрюзглый, с затуманенными глазами, колотил кулаком по столу и ораторствовал:

– И ругается... Пушай ругается... Бить нас мало...

– А ежели порядок такой? – возражает ему его толстый хозяин.

– Бить... За порядок и бить... Сорок годов хожу на плотях, ты еще мальчонком эконьким бегал, а теперь и пузо отрастил и...

– Благодать господня...

– Нет, ты ногу покажи...

Хозяин выставил чищенный сапог в высокой калоше.

– А это что? А? Оттого ты и пузо отрастил, от жадности... С того пятак, с того пятак – вот и пузо и нога... Нешто это нога хрестьянина... От жадности полтора сапога надето... – сказал Никита, указывая на сапоги с калошами.

– Кешка, брось! А ты выпей лучше...

Хозяин налил стакан.

– Отравы-то?.. Вот кабы не эта отрава-то, так где бы ты полтора сапога взял? Сорок годов на плотях хожу, чугулки не было, по Можайке мы хаживали еще, ассигнациями получали и домой носили... А потому отравы не было и полтора сапога не видали...

Никита выпил залпом стакан и понюхал кусок кренделя.

– Бить нас надо за отраву-то... Вот бабы – во у кого учиться... Сердешная калачика не купит, все домой несет, а отчего? Потому отравы не знает... Верно я говорю? – говорил Никита коснеющим языком.

– Верно.

Хозяин встал и пошел к буфету.

Никита выбросил на стол четыре рублевые бумажки и немного меди и крикнул:

– Вишь денег колько? Еще полуштоф – живо!

На стул, с которого встал хозяин, сел золоторотец.

– Друг, верно я говорю – бить надо.

– Верно, – соглашается тот, косясь на деньги.

– А коли верно, значит, выпьем...

– Угостите, коли милость будет...

– И угощу... Ежели я недели мокнул, ежели я свое дело справил, значит... Покажи ногу!

Золоторотец конфузливо выдвинул из-под стола рваный, грязный лапоть.

– Где полтора сапога... А? – Никита потянулся к ноге золоторотца, стараясь схватить ее руками, и упал под стол. Золоторотец бросил свою рваную шапку на стол, прикрыл ею рублевки, огляделся, взял шапку вместе с деньгами и исчез в дверь...

ВОЛЯ ПОКОЙНОГО

Федот Ильич не был человеком с характером, как это казалось его окружающим, – он просто обладал упорством несокрушимым.

– Что заладил, тому и быть!

А заладил он после смерти своей жены, что духовного завещания никогда составлять не будет и что все его состояние должно перейти только законному наследнику.

– Воля моя непреклонна! – любил он повторять в беседах с друзьями.

С единственным сыном у него были не то лады, а не то нелады. Сын, многосемейный работник, ушел после женитьбы от отца и вел свое небольшое дело.

Между отцом и сыном стояли капиталы первого, но все-таки они взаимно любили друг друга. Как-то, последние дни, отец даже был у сына в гостях на даче и говорил:

– Вот рай истинный! – И ласкал внучат.

Одинокó жил он, видаясь изредка с двумя-тремя стариками, приятелями далекой юности, да окруженный разными бедными родственницами, а иногда проходимцами разных полетов, охотившимися за его капиталами, нажитыми упорным, честным трудом ремесленника и приумноженными старческой скупостью.

Но кремень был старик, деньги держал в бумагах, нисколько не интересовался последним падением курса, а видел только одну наличность: резал купоны и приобретал на них новые и новые бумаги, да еще радовался, что рента стала дешевле, а купоны все то же стоят. О будущем не думал, наличность ощущал, по привычке экономил до скарёдности и не понимал, что у человека могут быть иные потребности.

– Квартирка тепленькая, одежда-обу́жа есть, на рюмочку хватает – чего еще?! Не биться, не колотиться и на поклон к людям не ходить!

Был у него в давние времена приятель – поп старый, его прихода, – да умер. Бессребреник поп!

А на его место поставили молодого, новой формации, обделистого, из ходовых, отца Евсея. Этот и попечительство, и церковные школы, обо всем старается и всеми способами. Так и мечется по приходу, особенно по богатеньким да по вдовам-старушкам.

Вечером ко вдове, утром ко владыке.

– Ваше преосвященство! Еще жертвовательницу боголюбивую нашел на благоустройство приюта вашего имени, дозво́льте вам представить.

– Отрадно, отрадно. Что же, веди!

А от владыки ко вдове едет, и под широкополой шляпой волосы встают в ожидании, что на них скоро камила́вка зали́ловает...

Долго он и за Федотом Ильичом неотступно ухаживал. Чувствует старик это приставание, а возразить не в силах, будто загипнотизирован.

– Владыка вас, любезнейший Федот Ильич, самолично желает видеть, наслышан, что искра божья теплится у вас в груди, и заглушать ее не следует... Года-то ваши, года-то...

Потом вскидывал руки к небу и начинал описывать прелести рая.

– Сколь прекрасен рай-то, сколь он великолепен! Благорастворение воздухов, блаженство праведных, плоды...

– А рябина растет там, в раю-то? – совершенно серьезно спросил его Федот Ильич как-то, и надолго прекратились разговоры о рае.

Засосал его поп! Чувствует старик, что сил нет избавиться от него, и даже уже не тем голосом начал повторять свое любимое:

– Моя воля непреклонна!..

А поп все пути в царство божье указывает, говорит о верблюде, который скорее пройдет в игольное ушко, чем богатый в царство небесное.

Федот Ильич даже нарочно ходил в зоологический сад смотреть верблюда и попу об этом рассказал, а тот опять свое, и медаль на шею золотую примеривал, и о меню обеда у владыки рассказывал. Замучил старика.

Стал он пропадать из дома с утра, а вечером, если встретит его поп в переулке, прямо в трактир спасался, зная, что духовной особе туда идти не подобает.

Наконец извелся до того, что свой дом, насиженное гнездышко, наскоро продал и на другой конец города из своего прихода переехал.

А поп на другой день поздравить с новосельем препожаловал, пирог принес:

– Матушка испекла!

И рябиновки посудину из-под рясы вынул и на стол:

– Матушка настояла... два года для вас выдерживала! А там еще в запасе в чулане есть!..

Не устоял старик против любимой рябиновки! Сидят за графинчиком и беседуют.

– Семьдесят-то годков есть?

– Восемьдесят, батюшка, восемьдесят сегодня минуло!

– С днем рождения! Вот не знал, вот в какой счастливый день привел господь... Ну, помолимся...

И опять за рябиновку.

– Да, года большие... Все под богом ходим... А завещаньице-то есть?

– Зачем? У меня законный наследник есть... Сын...

– Так оно... Только нонешние, знаете, люди-то... О душе пещись надо... Рай-то, рай-то какой! Блаженство, плоды всякие, рябина-то во-о какая...

Старик сидел, клевал носом и шептал:

– Моя воля непреклонна... Рябина моя... я...

Каждый день то с пирожком, то с рыжичками...

Еще четверть принес...

Пришлось послать за доктором. Прописали лекарство, диету, ежедневную прогулку. В это время, отрезвившись, старик к сыну на дачу съездил денька на два. Приезжает домой, а письмо от попа на столе. Все о том же, да еще с прибавлением, что владыка хочет с ним познакомиться.

Не велел старик попа принимать, а он к нему с просвиркой пришел врасплох и черновик духовного завещания набело переписанный принес.

Соловьем залетным пел ему священник; всю элоквенцию семинарскую в ход пустил, чокаясь стаканчиками до позднего вечера, и уговорил, наконец, на другой день к нотариусу...

А сам уж и домик подыскал для школы, и процент изрядный за продажу с домовладельца выговорил.

Проснулся старик рано, с головной болью, одышка, глаза не смотрят. Приказал подать парадный сюртук, часы надел золотые, что делал только в самые торжественные дни, и сел за чай.

Налил из стакана в блюдечко, долго дул, сделал глоток, да и встал из-за стола. Вынул из кармана черновик завещания, развернул его, опять положил в карман и крикнул кухарке:

– Дай-ка пальто! Ежели кто спрашивать будет, скажи, к нотариусу пошел.

– Ладно, батюшка Федот Ильич, стало-ть, к... как его?

– К нотари-у-су! – протянул старик.

– К мат... мат...

– Ну да, к мат... мат... молчи уж, скажи, что по делам ушел... Давай-ка новое пальто!

Оделся, стал застегиваться, да и закашлялся. Потом оправился, ощупал карман, посмотрел, тут ли бумага с завещанием, и начал надевать калоши.

Сапоги были новые, и калоши лезли плохо. Старался, кряхтел, топал, – наконец пришлось нагнуться, поправить калошу рукой. Нагнулся. Голова закружилась. В глазах потемнело.

* * *

У владельца дома для поминовений был обычай никогда не топить свои громадные палаты.

– Народом нагреется, ко второму блюду еще жарко будет! – говаривал он гостям.

– Да ведь ноги замерзли!

– А вы валеночки, валеночки надевайте... Эй, свицар, принеси-ка ихные калошки!..

И кто послушался хозяина, чувствовал себя прекрасно.

Еще за молчаливыми блинами со свежей икрой, вместе с постукиванием ножей о тарелки, слышался непрерывный топот, напоминавший, если закрыть глаза, не то бочарное заведение, не то конюшню с деревянным полом.

И наследник, поместившийся на почетном месте, против духовенства, усердно подливавший вино, изредка тоже притопывал.

– Во благовремении и при такой низкой температуре оно на пользу организму послужить должно! – басил, прикрывая, протодиакон, отправляя чайный стакан водки в свой губастый, огромный рот. Он заметно раскраснелся и весело развязал язык. – А то давеча за закуской хозяин рюмочку с наперсток так наливает и говорит: «Отец протодиакон, пожалуйста с морозцу...» Это мне-то да наперсток!..

– Это верно-с, отец протодиакон, маловата для вас посудина одноногая.

– Конечно. Я и говорю ему: не протодиаконская эта посудина и не протодиакону из нее пить, а воробья причащать!.. Ну, и, конечно, стаканчик... Пожалуйста-ка сюда вон энту мадерцу.

– А вот покойный рябиновочку обожал... Помянем душу усопшего рябиновочкой... Отец Евсей, пожалуйста по единой! – предложил церковный староста, друг покойного.

– Нет, уж я вот кагорцу... Я не любитель этой настойки. Виноградное – оно легче... – И чокнулся с наследником. А потом потянулся через стол к нему, сделал руки рупором и зашептал: – Воля покойного была насчет постройки церковноприходской школы и приюта для церковнослужителей... Завещаньице уж было готово, и я избран душеприказчиком. Вы изволили ознакомиться с завещаньицем?

– Да, читал... Не угодно ли рябиновочки? Позвольте налить?

– Я кагорцу.

– А я вот рябиновочки. Она лучше, натуральнее, и притом наша русская, отец Евсей.

– Не любитель я... Виноградное больше... У владыки всегда виноградное за трапезой, я и приобых...

– А ведь рябиновочку тоже вы, Маланья кухарка мне сказывала, любили с отцом пить...

– Конечно, попивал, но так, для компании... а я виноградное.

– Вот лисабончику пожалуйста.

Когда обносили кисель, топот прекратился, резкое чоканье стаканов прорезало глухой шум трехсот голосов, изредка покрываемых раскатистым хохотом протодиакона, а отец Евсей под шумок старался овладеть вниманием наследника и сладко пел ему о пользе церковноприходских школ и святой обязанности неукоснительного исполнения воли покойного.

Прислушивался незаметно к этим речам церковный староста, и умный старик посматривал на наследника, которого еще ребенком на руках носил и с которым дружил и до последнего времени.

– Так как же-с, что изволите сказать на мои слова, Иван Федотович: благожелательно вам будет исполнить волю вашего батюшки?.. Конечно, можно за это через владыку удостоиться и почетного звания, и даже ордена...

«Тут не пообедаешь!» – улыбнулся про себя церковный староста.

– А вы бы рябиновочки, отец Евсей... Давайте-ка по рюмочке... Помянем отца!..

– Я бы хереску...

– Нет, уж сделайте одолжение, рябиновочки со мной выпьем.

– Ежели уж такова ваша воля, – наливайте!

Выпили.

И опять ладони рупором, и опять разговор. Отец Евсей покраснелся от выпитого, глаза его горели, голос звучал требовательно.

Наследник молчал и крутил ус.

– Ну-с, так позвольте узнать решительный ответ: угодно вам исполнить волю...

Но он не договорил.

Задвигались стулья. Протодиакон провозглашал вечную память.

– Ве-е-ечная па-а-мьять... Ве-е-еч-на-я па-а...

– Еще раз и последний беспокою вас, благоволите ответить, – нагнулся через стол отец Евсей.

– Извольте... Мы с моим покойным отцом относительно церковноприходских школ совершенно разных воззрений, и полученное мною по закону наследство я употреблю по своему усмотрению.

– Позвольте, – а воля покойного? Ведь ваш батюшка имел уже в кармане черновик духовного завещания и скончался, как вам известно, скоропостижно, надевая уже калоши, от разрыва сердца...

– Да... да... К сожалению, я знаю...

– И конечно, исполните волю вашего батюшки для успокоения его души?

– Я вам говорил уже, что на этот предмет я совершенно другого взгляда и на церковноприходские школы не дам ни копейки.

– То есть как же это?..

– Да так, ни ко-пей-ки! Считаю наш разговор оконченным. А теперь помолимся.

– Ве-ечная память... ве-ечная память... – гремело по зале.

Отец Евсей сверкнул глазами и, сделав молитвенное лицо, начал подтягивать прото-
диакону.

– Однако! – сорвалось у него на половине не допетой им ноты.

И еще раз повторил он:

– Однако!

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Это было в излюбленной дачной местности близ столицы. Я приехал суток на двое пожить к моим хорошим знакомым, давно уже обитающим в этой прекрасной местности.

Семья состояла из пожилого чиновника, его жены, добродушнейшей Анфисы Ивановны, двух сыновей, служивших на телеграфе, и трех дочерей, из которых старшая, Анна Васильевна, недавно овдовела, а остальные кончили гимназию и мечтали о «совместной работе, рука об руку с любимым человеком».

Все три были хороши собой, а лучше всех вдова, впрочем, довольно скучноватая, достаточно нервная и слишком уж преданная памяти мужа.

Я всех помнил еще детьми и прежде частенько бывал у них, живя в одном городе. Но последние годы моя жизнь сложилась так, что я редко заглядывал в северную столицу и редко видал симпатичную мне семью Раевых. Но я всегда и всюду помнил о них, в силу многих незабвенных минут, проведенных в дни самой первой юности в этой семье, и знал, что и они все интересуются мной, следя по газетам, где я и что я делаю.

Их дача стояла в густом липовом парке, шагах в тридцати от дороги, так что с террасы можно было видеть проезжающих, а с дороги – всю семью, обыкновенно заседавшую на террасе.

Случай, о котором я говорю, был на второй день моего приезда. Вечер мы провели, катаясь на пруду, и все возвращались веселой гурьбой домой ужинать.

Старики тоже плелись сзади, поотстав от молодежи. Ночь была темная, и с трудом глаза различали белую полосу липовой аллеи, по которой мы шли. Направо, вдали, показался огонек нашей дачи.

Терраса ярко освещена, накрыт стол, освещенный большой висючей лампой.

Вдруг перед террасой мелькнула тень и обрисовалась на белой скатерти стола и стене. Какой-то человек вскочил, схватил что-то со стола и бросился бежать.

Шедшая со мной под руку вдова единственная из всего общества увидела это, прижалась ко мне и испуганно шепнула:

– Видели? Кто это?

– Идите и молчите, я узнаю!

И, вырвавшись от ее руки, я бросился в калитку сада, пересек дорогу, белевшую между деревьями, и настиг фигуру. Я рассмотрел человека высокого роста, в пиджаке, картузе и высоких сапогах. В тот момент, когда он, не видя меня, подбежал ко мне, я схватил его за грудь и прижал к забору:

– Стой, что украл?

Он совершенно растерялся, опустив руки.

Я чувствовал, как несчастный весь дрожит под моей рукой. В это время остальные уже подошли и окружили нас.

– Вор! Вор! Вора поймали... – заговорили все.

– Что ты украл? – продолжал я допрос.

– Ради бога, извините, я проездом между поездами... Буфет закрыт. Вижу, стол на террасе накрыт... Стоят бутылки... Никого нет, а я с похмелья. Подбегаю, схватил бутылку и больше ничего. Ничего!.. Помилуйте, там серебро лежало. Я ремесленник, имел заработок. Наконец, есть деньги, билет. Вот бутылка. Простите, Христа ради!

Он вынул из бокового кармана бутылку красного вина и передал мне.

Я осмотрел карманы.

Ничего больше не оказалось.

– На, возьми бутылку и ступай! – сказал я ему.

Он повалился в ноги со слезами на глазах и стал благодарить, бормоча:

– Я – не вор... С похмелья только бутылку... Выпить захотелось.

– Так отпустить?! Покровительствовать вору! В полицию! В стан! Эй, сторож, сторож! – закричали все в один голос.

Несмотря на то что все эти собравшиеся вокруг «преступника» люди сами по себе были людьми добрыми, способными проникнуться глубоким состраданием к мухе, которую душит паук, – теперь в голосе каждого из них слышалось какое-то озлобление. Все словно ослеплены были животной боязнью за свой покой, за свою собственность и не хотели видеть жалкой фигуры пойманного, его приниженной забитости.

Несчастливого передали подоспевшим сторожам, которые и повели его. Я вышел на террасу. Сели за стол. Разговор не вязался. Дамы были на стороне вдовы. Только одна гимназистка, сестренка, перепуганная происшествием, мило смотрела на меня влажными глазами.

– И вы, Анна Васильевна, спокойно кушаете, отправив человека в полицию, отдав его ни за что под суд? – сорвалось у меня с языка.

– Значит, по-вашему, прощать воров?! Разводить этих разбойников, чтобы нас перерезали!

– Ничего подобного! Я вовсе не говорю о прощении воров и преступников; я говорю, что в данном случае человека несчастного не следует губить.

– Вы либеральничаете на чужой счет...

Я улыбнулся.

– Простите, именно на свой собственный. Едва ли кто-нибудь из вас всех бросился бы в темный парк ловить вора; ведь он мог быть вооружен. Я имел несчастье это сделать. Теперь раскаиваюсь. Вы меня, Анна Васильевна, хотели оскорбить, но я не оскорбился. Я сам раз в жизни в таком положении был. Позвольте рассказать?

Глаза всех обратились на меня.

– Пожалуй, рассказывайте, – лениво сказала Анна Васильевна, но в глазах загорелось любопытство.

– Дело было так. Как вам известно, я был несколько лет рабочим и жил, как все рабочие-зимогоры. Что такое зимогоры? Самое слово показывает: зимой горюют. И действительно, летом работы для нас вдоволь, а зимой или на белильный завод идти себя отравлять, или сидеть в трактире впроголодь, раздетому, разутому, ждать одиннадцати часов, когда выгонят, иногда в тридцать градусов мороза, в одних опорках и рваном зипуне на голом теле. Хорошо, если есть пятак на ночлег, – заплатишь, ляжешь на грязный пол, вытянешься и уснешь. А утром опять в трактир, ждать, пока вечером выгонят. Иногда работа набегала – дрова выкладывать из вагонов, а великим постом лед на Волге колоть. Я раз провалился сквозь лед и пешню упустил. Насилу вытащили меня, а пешня так и пропала. Три дня отработал за нее. Ну вот и сижу я раз в трактире. Дело было после Рождества. На улице больше тридцати градусов, а на мне опорки на босу ногу. Вот и одиннадцать часов. Вытолкали нас. Холод, на ночлег денег нет, должен за неделю, и приходиться съемщик не велел. Товарищи ушли. Стою я один у дверей, дрожу, не знаю, куда идти. Трактир на углу переулка.

Вдруг мимо меня промчался человек с каким-то узлом и исчез во тьме, а вслед за ним городской и еще двое, которые сразу схватили меня с криками и повалили. Я ударился головой о камень и потерял сознание. Очнулся на полу в грязном квартале, рядом с пьяным человеком. Тускло горел ночник. На столе лежал кусок хлеба. Голова болела, совершенно пустой желудок. Решетка не доходила до потолка, я перелез и взял хлеб и, стоя, с жадностью начал есть. Тут только и сообразил, что произошло со мной, как меня поймали, понял, что я благодаря ошибке могу пропасть, погибнуть. Я осмотрелся. Городской на скамье и пьяный за решеткой удивительно в тон храпели.

Я приотворил дверь на улицу – храп продолжался. Я вышел, тихо затворив за собой дверь, и пошел по пустой улице.

Ударили к заутрене. Я вошел в слабо освещенную церковь и простоял до утра, молясь от всей души. Я был спасен, как оказалось потом, от каторги. В рыночном трактире только и было разговора о побеге арестанта из квартала, что арестант этот был пойман за ограбление женщины, которая на извозчике везла узел с платьем. Впоследствии, дня через два, весь трактир знал грабителя, беглого сибиряка, который пропивал деньги, вырученные от продажи на базаре двух женских шуб. Знали об этом все, кроме полиции.

Вскоре после этого случая я написал отцу, чтобы он мне выслал денег, и, получив сто рублей, оделся и уехал домой, бросив изучать трущобный мир, который чуть меня не погубил.

Едва я успел окончить свой рассказ, как послышались быстрые шаги в саду. Кто-то бежал к нам. Дамы испугались. К террасе подбежал сторож:

– Господин, помогите... выручите. Человек-то, которого вы отправили, убег от нас и зубы мне разбил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.